

Александр Грин

Канат



Александр Грин

Канат

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=271382

Аннотация

«Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка – оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, – я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мои мозг грандиозными образами человеческих мировых величин...»

Содержание

I	4
II	6
III	9
IV	16
V	22

Александр Степанович Грин Канат

*Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?
И решил весь хор детей:
«Это просто воробей!»*

Величко

I

Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка – оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, – я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мои мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинутой, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?

Рассмотрим этот костюм: на голове – высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.

Это – король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан... все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах – упоение величием; на ногах – рыжие опорки; в душе – престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим – он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит – выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти: «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» – и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что – перевернем понятия – у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети – и золото, много золота в виде бледных желтых монет, – наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей.

II

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления, производимого собой на других. Приличным случаем примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает вначале сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом.

Такая избитость мотива делает его надоедливой и пустым. Теперь – если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке – получится нечто похожее на шествие от себя, как от обыкновенного человека, к восхищению собой, – во всех смыслах, – к фантастическому, счастливому упоению.

Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но – главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества пе-

ремешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервно-сти служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, – вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения;

их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня – ничто, а я для них – все.

Четвертое: я – владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот – я, и я – этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуynости заставляет ходить.

III

Теперь, полностью восстанавливая канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне, в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение – спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело «вещи в себе» – потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умираю и не умру; мое имя – Амивелех; мое откровение – благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый

с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моем расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный – чудовищно похожий на меня человек – одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрывать от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.

Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.

– Ты – трус! – громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, – так как речь шла о полубожеских силах, – в углах залы и за стойкой происходили

отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:

– Ты – трус!

Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая пронизательность спасовала перед западней мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.

– До удивления, – начал он, – до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.

Я сказал:

– До крайнего, крайнего удивления. Мое имя – Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо мне? Наша страна пу-

стынна, это – страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?

– Я – Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: «Я... собственно... знаете...» – и тому подобное.

– Итак?

– Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

– Знаю, – сказал я. – Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаєте взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.

– Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подскакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например... хо-хо! Я говорю, что если бы вы... попробовали... Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову... У меня даже

голова закружилась... Тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

– Марч! – внушительно сказал я. – Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!

– Вот так штука! – захохотал он. – Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!

– А! Ты дрожишь?!

– Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение – это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: «Марч, твоя левая нога поскользнулась»... И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие... наклонился... падаешь... вот твое тело у земли – три фута, фут, дюйм... удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов – раз было так – и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются... Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!

– Так далеко? – спросил я. – Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

– Готово! – воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку. – Ага! Вот оно и улетело... воображение... дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его... совсем немного...

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.

– Сегодня, в три часа дня, – продолжал он, осторожно понизив голос, – я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас, – смел ли я быть совершенно похожим? – что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражание великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате... что вы шатаетесь, падаете... какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас бог! Пусть никогда нелепая мысль...

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железной пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в

жадном эфире.

– Марч! – тихо заговорил я. – На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

– Но...

– Ни слова. Ни сло-ва, Марч!

– Я...

– Молчи! Тише!

– Вы...

– Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобольда – свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому – предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг ни друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним.

IV

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся, – о, жалкий! – увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтаж-

ного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройти с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.

Разумеется, я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, – притворно, конечно, – с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйтесь, компрачикосы¹! Я кивнул и стал

¹ Компрачикосы – в Испании, Англии и других странах в XIII–XVII веках –

взбираться по лестнице.

С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, однородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, – я потрясенно чувствовал это, – пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответственными тому движениями, перекладинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостанов-

люди, похищавшие или покупавшие детей и уродовавшие их с целью продажи в богатые дома или балаганы в качестве шутов.

вочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции.

Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наиудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте.

Я воспринимаю следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, – серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторою, таившеюся захирело и глухо, здоровою частью души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по ру-

кам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадеженный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянущуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это – близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, – более, чем доказательства глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное сходде-

ние небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не долее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и осто́лбения; затем двинулся и пошел.

V

Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался, – необъяснимо и, главное, самоуверенно, – стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем «Славные

ребята», – предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому селу. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат, таинственным образом подражает – следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.

Я только что собрался произвести этот опыт – опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений – результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуетности оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их, воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в

этой среде сгустки подобно скрещиванию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч, Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение – увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно – идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет; просто идет и держит в руках шест высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти».

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипятик, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я – кто же такой? Я – Амивелех, да...

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:

– Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!

Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зренья, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в середине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: «Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!» – и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряжен-

но ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд, – только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я – лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я – чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасасающегося произвести шум. Желавшие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неотчетливую игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклон-

ностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой – мной, могущим потерять равновесие. Я читал:

– «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть – надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь, кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»

Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неопишное волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

– Спасите! Спасите! – закричал я.

Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался!

Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.

Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности... Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» – всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью

запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...

Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой – значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него. Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти – при первых же шагах по проволоке – получал через жену страховую премию, а через гроб «Фосса-Марча» – загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.